

**Л.В. Большакова\***

**ПРОБЛЕМА «РОССИЯ И ЗАПАД»  
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
1940–1960-х гг.**

**L.V. Bolshakova**

**“RUSSIA AND THE WEST” AS A PROBLEM  
OF ENGLISH HISTORIOGRAPHY  
IN THE 1940s–1960s**

**Аннотация.** Период 1940–1960-х гг. является этапным в развитии зарубежной, и прежде всего англоязычной, историографии России. Условная конечная точка рассматриваемого периода — «протестный» 1968 г., оказавший глубокое воздействие как на систему образования на Западе, так и на историческую профессию. С точки зрения истории науки главным содержанием периода является формирование профессионального историографического дискурса. Он выковывался под влиянием и в противостоянии с публичным дискурсом, который оперировал накопившимися стереотипами и клише о России. В любом случае образ России строился на сравнении ее с Западом, олицетворением которого к концу Второй мировой войны стали выступать США. Россия и ее преемник Советский Союз трактовались как полная противоположность «свободному» капиталистическому Западу. Проблема «Россия и Запад», являясь центральной для публичного дискурса на Западе, столь же важное место заняла и в историографии. В первой фазе холодной войны образ России в публичном дискурсе США и Западной Европы был резко негативным. Особенно популярной стала идеологема «Москва — Третий Рим», в рамках которой Россия представляла страной, обладавшей целым рядом «восточных» черт, в которой ничего не изменилось со времен Ивана Грозного. К концу 1950-х гг. растет число специалистов и накапливается значительный корпус научных текстов по истории России. В исторической науке начинает утверждаться теория модернизации с ее идеей «догоняющего развития». Представители первого поколения американских историков-русистов многое унаследовали от

---

\* *Большакова Ольга Владимировна*, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, зав. сектором истории России Отдела истории ИНИОН Российской академии наук

*Bolshakova Olga Vladimirovna*, PhD Candidate in History, Leading Research Fellow, Head, Division of Russian History, Department of History, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences  
+7-903-732-15-79; jkmuf16@gmail.com

русских историков-эмигрантов и от русской дореволюционной историографии. В их трудах 1950–1960-х гг. Россия XIX — начала XX в. представляла страной, идущей по европейскому пути, но «запаздывавшей» в своем развитии. В 1960-е гг. в западной русистике сформировался профессиональный историографический дискурс. Наряду с богатством понятийного аппарата он демонстрирует высокий уровень профессионализма его участников, глубокое понимание ими истории России, владение многообразным методологическим инструментарием. По их единодушному мнению, только исторический подход, лишенный политизации, дает возможность адекватно анализировать проблему «Россия и Запад».

**Ключевые слова:** зарубежная русистика, концепт «Запад», холодная война, публичный дискурс о России, историографический дискурс, «восточный деспотизм», теория модернизации, «ориентализация» России.

**Abstract.** The 1940s–1960s is a period of landmark nature in the development of foreign, primarily English-speaking, historiography on Russia. The conditional endpoint of this period is the “protest” year of 1968, which had a profound impact on both the Western educational system and historical profession. From the point of view of the history of the discipline, the main content of the period is the formation of historiographical discourse, which was forged under the influence of and in opposition to the public discourse with its stereotypes and clichés concerning Russia. In any case, the image of Russia was based on its comparison with the West, which, by the end of WWII, was embodied in the US. Russia and its successor, the Soviet Union, were interpreted as the exact opposite of the capitalist “free” West. The problem of “Russia and the West”, central to public discourse in the West, occupied an equally important place in historiography. During the first phase of the Cold War, the public image of Russia was sharply negative in the US and Western Europe. The ideologeme of “Moscow as the Third Rome” became especially popular and presented Russia as a country of a number of “eastern” features, where nothing had changed since the time of Ivan the Terrible. An increasing number of historians and studies dealt with Russia by the end of the 1950s. The theory of modernization and idea of “catch-up development” started to take hold in historical research. Representatives of the first generation of American scholars in the field of Russian history inherited much from Russian émigré historians and pre-revolutionary historiography. In their works of the 1950s–1960s, the 19th —early 20th-century Russia appeared as a country on the European way, though “lagging” in its development. The Western Russian studies set up their own historiographic discourse in the 1960s. Along with the richness of the conceptual apparatus, it demonstrates a high level of professionalism, deep understanding of the history of Russia, and application of a variety of methodological tools. In the unanimous opinion of American scholars, only a historical unpoliticized approach makes it possible to adequately analyze the problem of “Russia and the West”.

**Keywords:** foreign Russian studies, the concept of the “West”, Cold War, public discourse about Russia, historiographical discourse, “Eastern despotism”, theory of modernization, “orientalization” of Russia.

По общему признанию, проблема «Россия и Запад» занимала центральное место в зарубежной, прежде всего англоязычной, историографии России/СССР в период холодной войны<sup>1</sup>. В основе интерпретаций российской истории на Западе лежали представления о том, какое место занимала Россия в мире, каково ее настоящее и будущее, которое мысленно соотносилось с ходом поступательного развития западной цивилизации. Иными словами, зарубежные историки строили свои исследования на сравнениях, точкой отсчета в которых выступало восприятие себя как представителей «цивилизации», «Европы», наконец, «Запада» — понятия, наполнившегося культурными и политическими смыслами в середине XIX в. и ставшего центральным для политического воображения второй половины XX в. К этому времени концепт «Запад» ассоциировался с такими категориями, как прогресс (научно-технический и экономический), права и свободы личности, частная собственность, свобода предпринимательства, верховенство закона, конституционная демократия. «Восток», напротив, наделялся чертами противоположными и во всем противостоял этому мысленному «Западу», олицетворявшему свободу и динамизм<sup>2</sup>. Россия же в этой ментальной конструкции занимала некое «промежуточное» место, и в зависимости от исторических обстоятельств ее относили то к «Востоку», то к «Западу», хотя и признавая определенную неполноту ее статуса в семье европейских наций.

Так, по наблюдениям В.И. Журавлевой, в американском общественном мнении к началу XX в. сложилось несколько дискурсов о России, которые она определила как «либерально-универсалистский», «консервативно-пессимистический», «русофильский» и «радикальный» (близкий к представлениям народников)<sup>3</sup>. Тем не менее, преобладающими (и базовыми) следует считать два первых, которые имели широкое хождение не только в Америке, но в мире в целом. «Оптимистический» в своей основе либерально-универсалистский дискурс трактовал Россию как страну, которая стремится к ценностям западной цивилизации и, будучи «молодой», имеет все шансы на быстрое развитие. В центре консервативного дискурса, который подчеркивал деспотизм и отсталость России, лежали миф о «вековечной Руси», идеи о русском мессианстве и «особости» стра-

<sup>1</sup> Дэвид-Фокс М. Введение: Отцы, дети и внуки в американской историографии царской России // Американская русистика. Самара, 2000. С. 9.

<sup>2</sup> Подробнее см.: *Большакова О.В.* Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по русистике. Вып. 6. М., 2016. С. 353–385.

<sup>3</sup> *Журавлева В.И.* Понимание России в США: Образы и мифы. 1881–1914. М., 2012. С. 88–89, 171.

ны, тяготеющей к Востоку. Обе линии интерпретаций существовали параллельно, и в разные исторические периоды доминирующее положение занимала то одна, то другая.

Необходимо подчеркнуть, что речь в данном случае идет о публичном дискурсе, во взаимодействии с которым складывался дискурс профессиональный — тот набор понятий и ментальных конструкций, который использовался в исторических исследованиях России. На его формирование серьезное влияние оказывали, во-первых, общий политический и интеллектуальный климат, во-вторых — сама логика развития так называемых «русских исследований», которые в 1940–1960-е гг. переживали беспрецедентный рост. США в этот период стали, с одной стороны, ведущим центром по изучению России/СССР и стран Восточной Европы, с другой — форпостом идеологической борьбы с коммунизмом. Таким образом, профессиональный историографический дискурс о России создавался в сложных условиях, постоянно подвергаясь идеологическому давлению и пытаясь, однако же, отмежеваться от «политики». К концу 1960-х гг. можно говорить о его окончательном становлении. Дальнейшее его развитие проходило в иных условиях: началась другая эпоха, когда после бурных событий конца 1960-х гг. на Западе произошли серьезные изменения, в том числе и в исторической профессии<sup>4</sup>.

\* \* \*

В годы войны совместная борьба с фашизмом подталкивала союзников к оптимистическому восприятию СССР (и даже его политической системы). В 1941 г. У. Чемберлин в первом номере обновленного журнала «Русское обозрение» выразил надежду, что союз с западными демократиями приведет к тому, что из горнила военных испытаний выйдет свободная Россия и станет частью свободной Европы<sup>5</sup>. Поразительно, с какой легкостью из богатого «репертуара смыслов», накопленного за 100 лет в американских текстах о России (которые подробно описаны В.И. Журавлевой)<sup>6</sup>, были извлечены и использованы метафорические формулы (тропы), нацеленные на сближение. Всё чаще подчеркивались черты удивительного сходства между двумя странами, находящимися на периферии европейского мира. В частности, огромную роль в их становлении, как отмечается в статье Р. Доу, играл фактор пространства, а сущность исторического развития России и Америки составлял про-

---

<sup>4</sup> См. материалы «круглого стола»: AHR Reflections: 1968 // The American historical rev. 2018. Vol. 123, N 3. P. 706–778.

<sup>5</sup> Chamberlin W.H. Foreword // The Russian review. 1941. Vol. 1, N 1. P. 5.

<sup>6</sup> Журавлева В.И. Указ. соч.

цесс колонизации и освоения безбрежных территорий, неустанное «стремление к морю», в конечном счете — к Тихому океану. Параллели обнаруживались не только в формах и способах «экспансии и аннексии» континентальных «просторов», но и в положении двух «молодых» стран по отношению к высокомерной рафинированной Европе. И русские, и американцы, пишет Доу, всегда страдали комплексом социальной и культурной неполноценности перед старой европейской цивилизацией, были склонны к «самооплевыванию» (он приводит это русское слово в транслитерации), что нашло отражение в художественной литературе обеих стран<sup>7</sup>.

Широко распространившееся в Америке в годы войны ощущение культурной общности, пишет Д. Энгерман, послужило причиной выбора русского языка большинством военнослужащих, проходивших обучение по интенсивной программе (среди них известные впоследствии специалисты — социолог Алекс Инкелес и политолог Роберт Такер, историки Мартин Малиа и Ричард Пайпс, литературовед Хью Маклейн)<sup>8</sup>. На этой вполне позитивной волне зарождалась инфраструктура региональных исследований (*area studies*), задуманных как изучение мировых цивилизаций еще в 1942 г., и Россия/СССР занимала в этих проектах далеко не последнее место. Планы, ориентированные на послевоенное время, предполагали развитие сотрудничества с советскими учеными, которых собирались приглашать в американские университеты на постоянной основе<sup>9</sup>. Однако послевоенная реальность оказалась иной: «холодная война» расколола бывших союзников в борьбе с фашизмом, да и весь мир, на два лагеря: капиталистический Запад и коммунистический Восток.

В общественном сознании на Западе это противостояние во многом воспринималось как проявление «вековой», даже извечной конфронтации. Советский Союз становится олицетворением «Востока», что в период послевоенной нестабильности помогало сформировать собственный образ и понимание себя как «Запада». Америка начинает подавать себя как наследницу «великих принципов западной цивилизации». Если раньше американцы ощущали себя учениками Европы, провинциалами, не знающими, как себя вести в метрополии, то теперь проводится мысль о единстве истории и судьбы. Более того, ставится знак равенства между антигитлеровской коалицией и западной цивилизацией, что дало основания для

---

<sup>7</sup> *Dow R. Prostor: A geopolitical study of Russia and the United States // The Russian review. 1941. Vol.1, N 1. P. 6, 10.*

<sup>8</sup> *Engerman D. Know your enemy: The rise and fall of America's Soviet experts. Oxford, 2009. P. 16–17.*

<sup>9</sup> *Ibid. P. 31.* В списке, направленном Робинсоном в советское посольство, упоминались историки Панкратова, Минц и Тарле, экономисты Лященко и Варга.

исключения бывшего союзника — СССР, который, как стали считать, к этой цивилизации не принадлежал<sup>10</sup>.

Советский Союз предстал в публичном дискурсе конца 1940-х — начала 1950-х годов новейшим и наиболее опасным проявлением векового русского деспотизма, и на основании таких представлений делались заключения о неизбежности российского и, следовательно, советского экспансионизма. «Ориентализация» России и Восточной Европы в первые послевоенные годы стала господствующей метафорой, что являлось составной частью общего процесса самоидентификации Западной Европы и США в условиях конфронтации с восточным соседом и соперником<sup>11</sup>. Для формирования публичного дискурса большое значение имели работы эмигрантов из Восточной Европы, в том числе и переводные, активно издававшиеся в Великобритании и США<sup>12</sup>.

Интеллектуально-культурный климат послевоенных лет на Западе в целом был безусловно антисоветским. Он формировался такими бестселлерами, как «Скотный двор» Оруэлла и «Слепящая тьма» Артура Кёстлера, сообщениями прессы, сочинениями военных и дипломатов, текстами советских эмигрантов второй волны и др. Центральное место в публичном дискурсе о Советском Союзе занимало противопоставление свободы деспотизму, которое всегда имело первостепенное значение для либерального мировоззрения, ставившего во главу угла политику, а не социум. В ход шли такие проверенные временем структурные оппозиции, как «цивилизация–варварство», «свобода–деспотизм».

Характерной особенностью первой фазы холодной войны стало активное использование негативных стереотипов о России. Наряду с опричниной Ивана Грозного и «нечаевщиной» крайне популярной стала доктрина «Москва — Третий Рим», служившая объяснением русского мессианства и, соответственно, имперского экспансионизма (унаследованного от Византии). Ее востребованность обуславливалась тем обстоятельством, что американский мессианизм — убежденность в своем предназначении нести свет свободы во все страны мира — начинал разворачиваться тогда в глобальном масштабе.

К настоящему времени историки уже тщательно проанализировали происхождение этого «оружия холодной войны», сфор-

---

<sup>10</sup> *Novick P.* That noble dream: The “objectivity question” and the American historical profession. Cambridge, 1988. P. 317.

<sup>11</sup> См. об этом: *Hagen M. von.* Empires, borderlands and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era // *American historical review.* 2004. Vol. 109, N 2. P. 451.

<sup>12</sup> *Halecki O.* Borders of Western civilization: A history of East Central Europe. New York, 1952; *Keller W.* East minus West = zero: Russia's debt to the Western world, 862–1962 / Transl. from German. New York, 1962 и др.

мировавшегося как политико-идеологическая доктрина в 1870-е гг. и позднее послужившего материалом для философских систем Владимира Соловьева и Николая Бердяева. Было показано, что идея «Москва — Третий Рим» никогда не имела непосредственного влияния на внешнюю политику Российской империи, а к концу XIX в. «мессианское» понимание идеи «Москва — Третий Рим» стало уже общим местом<sup>13</sup>. Выдвинутый Бердяевым после революции тезис о том, что истоки большевизма следует искать не только в марксизме, но и в русском мессианстве, был подхвачен на Западе, уже после окончания Второй мировой войны, наиболее консервативными кругами. По мнению А.В. Кореневского, бердяевскую трактовку русского коммунизма как инверсии мессианской идеи Третьего Рима воспринял А. Тойнби, и поворотным пунктом в превращении исторического мифа о «византизме» в политическое клише явилась публикация его эссе «Византийское наследие России»<sup>14</sup>. Объяснение «советского империализма» давними претензиями России на роль «Третьего Рима» в те годы можно было встретить и в ученых трудах, и в политической публицистике, звучало оно и в Госдепартаменте<sup>15</sup>.

Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. в общественном сознании на Западе безусловно превалировал русофобский консервативно-пессимистический дискурс, который не мог не оказывать влияния на формирование профессионального дискурса о России. В истории науки этот период «послевоенного бума в области исследований России» обычно связывают с деятельностью первого поколения историков-русистов — «отцов», получивших профессиональную подготовку в только что открывшихся университетских центрах США<sup>16</sup>. Однако их научная карьера тогда только начинала разворачиваться: защищались диссертации, публиковались научные статьи, выходили первые специальные монографии. «Первую скрипку» в изучении русской истории в конце 1940-х — 1950-е годы играли немногочисленные слависты, начавшие свою научную деятельность до войны, и эмигранты из России и Европы. Их работы, наряду с довольно большим количеством дилетантских текстов, на-

---

<sup>13</sup> Карпович М. О русском мессианстве // Новый журнал. Нью-Йорк, 1956. Т. XLV, кн. 45. С. 274–283; Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Там же. С. 249–273; Лихачев Д.С. Национальное самосознание Древней Руси. М.; Л., 1945; Рое М.Т. Moscow, the Third Rome: The origins and transformations of a 'Pivotal Moment' // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Н. 49. Bd 3. Wiesbaden, 2001. S. 412–429, и др.

<sup>14</sup> Тойнби А.Я. Russia's Byzantine heritage // Horizon. 1947. Vol. XVI. N 91. August. P. 82–95; Кореневский А.В. Византийское наследие России: анатомия мифа // Новое прошлое (Ростов-на-Дону), 2016. № 1. С. 63.

<sup>15</sup> Рое М.Т. Op. cit. P. 427.

<sup>16</sup> Дэвид-Фокс М. Указ. соч. С. 7–8.

писанных теми, кто побывал в России или просто интересовался ею, составляли тогда массив литературы, которую условно можно было бы назвать «россиеведческой». История не играла в ней заметной роли, поскольку в центре внимания находился «текущий момент».

Лишь к концу 1960-х гг. накапливается корпус научных текстов, достаточный для того, чтобы говорить о складывании профессионального исторического дискурса о России. Он выковывался в противостоянии с публичным дискурсом, представленным тогда не только политической публицистикой, но и бестселлерами разного жанра — беллетристикой, документальными и описательными текстами, обобщающими трудами, находившимися на грани научной и популярной литературы.

В большинстве произведений такого рода Россия подавалась как страна, не принадлежащая к западной цивилизации и во многом ей противоположная. При этом с той или иной интенсивностью использовались негативные стереотипы и метафоры, получившие широкое хождение еще в прошлом веке, — что, впрочем, не отменяло возможности восхищаться российской самобытностью. Превалировавший в публичном дискурсе образ «извечной» Руси (*eternal Russia*), в которой почти ничего не изменилось с эпохи Ивана Грозного, в условиях резко антисоветского климата первой фазы холодной войны был окрашен в черные тона. Немного позднее, когда снизился накал страстей, «экзотизация» самобытной России стала всего лишь удобным литературным приемом, позволяющим захватить внимание читателя. Однако в любом случае ее образ выступал в качестве анти-тезы «свободному миру».

Давалось тогда и научное обоснование такой позиции, чаще всего в работах общего характера — историософских, социологических, политологических. Разные вариации на тему цивилизационного подхода, крайне популярного в то время, относили Россию как наследницу Византии к Востоку — в частности, об этом много писал А. Тойнби. Его известный сборник «Цивилизация перед судом истории», так же как и книга К. Виттфогеля «Восточный деспотизм», типичны для интеллектуального ландшафта конца 1940-х — 1950-х гг.<sup>17</sup> Негативные интерпретации России/СССР подпитывались и теорией тоталитаризма, разработанной до войны на материале нацистской Германии, которая обрела в послевоенное время второе дыхание и начала применяться также и к СССР. Мартин Малиа назвал ее «современным преемником» образа России как воплощения «восточного деспотизма», бытовавшего в годы

---

<sup>17</sup> *Toynbee A.J. Civilization on trial. New York, 1948; Wittfogel K. Oriental despotism: A comparative study of total power. New Haven, 1957.*

никаевского царствования<sup>18</sup>. Тоталитарная парадигма исходила из идеи преемственности между СССР и царской Россией, подчеркивая неизменность и уникальность страны, трагически непохожей на «свободный Запад». Она во многом способствовала укреплению определенной линии в исследованиях России и СССР, обличительной по своему характеру, которая создавалась в основном журналистами или же не профессиональными историками — такими, как экономист У. Росту, поэт и дипломат Р. Конквест и др.

Авторы этих работ были склонны проводить достаточно поверхностные аналогии с дореволюционным прошлым, оперировали старыми клише, укоренившимися в общественном сознании, и писали при этом ярко и удобопонятно. Возражения специалистов не могли поколебать их популярность, как это было, например, в случае с британским антропологом Джеффри Горером. Его лекцию о «неизменном» русском характере, которую он прочитал в Гарварде при открытии Русского центра, резко раскритиковали участники семинара<sup>19</sup>. Однако книга, в которой пассивность и мазохизм русского народа объяснялись обычаем туго пеленать младенцев, была переиздана 12 раз, а выводы ее авторов были с готовностью восприняты публикой<sup>20</sup>. Другой пример — Эдвард Крэнкшоу, преподаватель и журналист, в 1941–1943 гг. офицер Британской военной миссии в Москве. Среди нескольких десятков написанных им книг многие посвящены России и СССР, и опираются они главным образом на актуальные в тот момент стереотипы и клише<sup>21</sup>. Подобная квазинаучная литература, для которой были характерны подход к истории с позиций морали (а иногда и прямое морализирование), высокий уровень презентизма, публицистичность, поверхностность, обладала определенным весом в период становления *Russian studies*, когда серьезные исторические исследования только разворачивались.

Формировавшийся в послевоенные годы профессиональный исторический дискурс был далек от проведения дилетантских аналогий, сравнивавших опричников со сталинскими чиновниками, и сосредоточивался по понятным причинам на эволюции, а не на статике. И хотя противоположность Советского Союза «Западу» не ставилась под сомнение большинством историков-русистов старшего поколения, в отношении дореволюционного периода, который они, собственно, и изучали, доминировали иные оценки. В их работах

---

<sup>18</sup> *Malia M.* Russia under the Western eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, 1999. P. 389.

<sup>19</sup> *Engerman D.* Op. cit. P. 47.

<sup>20</sup> *Gorer G., Rickman J.* The people of great Russia; a psychological study. London, 1949.

<sup>21</sup> *Crankshaw E.* Russia and the Russians. London, 1947; *Crankshaw E.* The shadow of the Winter Palace: Russia's drift to revolution, 1825–1917 и др.

шла речь о стране европейской культуры, лишь «запаздывавшей» в своем экономическом и политическом развитии, чье поступательное движение в 1917 г. было трагически прервано революцией. Это представление, утвердившееся во многом благодаря влиянию русских историков-эмигрантов и традициям русской дореволюционной историографии, укладывалось в рамки господствовавшей тогда либеральной исторической парадигмы. Органично вписалась в эту систему представлений возникшая в 1950-е гг. теория модернизации, которая предоставила научный аппарат для анализа исторического развития России в XVIII–XIX вв. Постепенно усваивалось и социологическое наследие М. Вебера, в то время как господствовавшая в рассматриваемый период теория тоталитаризма применялась главным образом политологами и социологами и имела очень ограниченное значение для изучения дореволюционной истории России.

В 1950-е гг. выходят в свет специальные монографии, написанные представителями первого поколения историков-русистов. В частности, в рамках проекта «Россия в Азии» была подготовлена монография Д. Тредголда «Великая Сибирская миграция», в которой представлен оптимистический взгляд на перспективы развития России, прерванные войной и революцией<sup>22</sup>. Автор утверждает, что русское крестьянство было чрезвычайно заинтересовано в получении права частной собственности на землю и претворяло в жизнь свои стремления, переселяясь на окраины империи (освоение Сибири сравнивается с американским освоением Запада). Тредголд рассматривает политику правительства и практику крестьянского землеустройства, позицию по этим вопросам ведущих государственных деятелей, в первую очередь Столыпина, приводит данные, подтверждающие успех столыпинских преобразований в Сибири, и вводит в научный оборот концепции молодых экономистов-аграрников Макарова, Челинцева и Чайнова. В чем-то эту книгу можно назвать установочной, поскольку многие последующие исследования аграрной проблематики будут следовать тем же курсом.

Еще одна изданная в рамках того же проекта монография принадлежала перу Марка Раева и была посвящена реформам в Сибири, проводившимся в 1822 г. М.М. Сперанским<sup>23</sup>. Фактически, это административная история, с ее особым вниманием к программам и взглядам реформатора, содержанию законодательных актов и тем изменениям, которые они вносят в жизнь населения. Раев подчеркивал, что идущая с екатерининских времен традиция смотреть

---

<sup>22</sup> *Treadgold D.* The Great Siberian migration: government and peasant in resettlement from emancipation to the First World War. Princeton, 1957.

<sup>23</sup> *Raeff M.* Siberia and the reforms of 1822. Seattle, 1956.

на коренные народы как на полноправных подданных, а не на объекты колониальной эксплуатации, достигла своего пика в реформах Сперанского. В отличие от западных колонизаторов, Россия давала возможность развиваться местным культурам — точка зрения, которая встретится во многих позднейших работах американских историков.

Характерный для историографии этого периода подход представлен в монографии Н. Рязановского о теории официальной народности, совместившей в себе интеллектуальную и политическую историю<sup>24</sup>.

Исходя из тезиса, что Россия в течение 30 лет управлялась в соответствии с идеологией, сформулированной в знаменитой триаде «православие, самодержавие, народность», Рязановский рассматривает все ее аспекты во взаимосвязи с тем, что сегодня бы назвали «властной структурой». Он подробно описывает характер и взгляды Николая I, дает психологические характеристики членов императорской фамилии и лиц, приближенных к императору, аргументированно доказывая, что Николай I управлял страной единолично и фактически «всецело господствовал» над Россией<sup>25</sup>.

Теорию официальной народности Рязановский помещает в общеевропейский контекст, отмечая, что она являлась «типичной философией эпохи реставрации и реакции» после победы над Наполеоном, а в практическом отношении означала «определенный способ управления огромным и относительно отсталым русским государством»<sup>26</sup>. В петровскую эпоху такая форма могла считаться даже прогрессивной, однако в контексте динамично развивающейся Европы второй четверти XIX в. уже превратилась в анахронизм. В то же время в годы «железного правления» Николая I Россия претерпевала фундаментальные изменения в экономике (развитие капитализма) и культуре (рождение интеллигенции). Россия Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского имела мало общего с идеями и принципами официальной народности. Оценивая внутреннюю политику 30-летнего царствования, «глядевшего назад», Рязановский отмечает, что нежелание императора прислушиваться к чужим мнениям и неуклонное проведение собственной линии завело страну в тупик. Великие реформы 1860-х гг. запоздали, и в каком-то смысле Россия так и не сумела оправиться от 30 лет, потерянных при Николае I.

---

<sup>24</sup> *Riasanovsky N. V. Nicholas I and official nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley, 1959.*

<sup>25</sup> *Ibid.* P. 51.

<sup>26</sup> *Ibid.* P. 267.

Исследования такого рода были редкостью в то время, поскольку русский консерватизм не пользовался большой популярностью у западных историков. Лишь Р. Пайпс издал перевод «Записки о древней и новой России» Карамзина, снабдив его своим предисловием, и опубликовал статью о карамзинской концепции самодержавия<sup>27</sup>. Зарубежные историки посвящали свои исследования свободе и борьбе с деспотизмом, что было особенно уместно в политическом и интеллектуальном контексте рубежа 1950–1960-х гг., когда на повестку дня вышло освобождение стран Азии и Африки от колониального гнета и их развитие.

В Советском Союзе после XX съезда начался процесс десталинизации, страна стала приоткрываться для контактов с западными странами, и после запуска первого советского спутника моральный климат на Западе по отношению к СССР изменился кардинально. В частности, принятый в 1958 г. американским Конгрессом закон об изучении важных со стратегической точки зрения иностранных языков назывался *Sputnik Act*, что свидетельствовало о первостепенном значении русского языка. Благодаря этому закону в течение 10 лет число лиц, изучающих в колледжах и университетах русский язык и страну в целом, удвоилось. Начался активнейший рост русских исследований как в США, так и в других западных странах. Росло количество университетов, в которых читались курсы по истории и культуре России/СССР (к 1964 г. в США их стало почти 400), совершенствовались уже существующие программы, расширялся их тематический охват. В конце 1960-х гг. Американская ассоциация славянских исследований (AAASS) насчитывала уже приблизительно 2000 членов. Возникают новые журналы, и благодаря увеличению количества специалистов исчезает проблема дефицита материалов. Так, новый редактор журнала “*Slavic review*” Д. Тредголд отвергал три из четырех присланных рукописей<sup>28</sup>.

Неуклонный рост инфраструктуры региональных исследований сопровождался трудностями методологического характера, связанными с пересмотром лежащего в их основе цивилизационного подхода. В 1950-е гг. с возникновением теории модернизации начинается постепенное размывание самих оснований, на которых строились региональные исследования как особая отрасль знания: присущая им описательность сменяется применением математических методов,

---

<sup>27</sup> Karamzin's Memoir on ancient and modern Russia / Transl. and ed. by R. Pipes Cambridge (Mass.), 1959. Пайпс при всем его авторитете был все же одиночкой в научном сообществе американских историков-русистов, о чем красноречиво свидетельствуют его мемуары «Записки непримкнувшего» (*Pipes R. Vixi: Memoirs of a non-belonger*. New Haven, 2003).

<sup>28</sup> Engerman D. Op. cit. P. 72, 78, 82.

построением социологических моделей, количественным анализом массовых источников.

Становление нового модернизационного подхода к изучению России/СССР нашло свое отражение в ряде дискуссий, организованных журналом "Slavic review". В них выковывалась позиция, которая станет определяющей для англоязычной русистики вплоть до заката СССР. Наряду с анализом перспектив теории модернизации критически рассматривались старые, но все еще авторитетные концепции, в том числе концепт «восточного деспотизма». Одна из дискуссий была посвящена книге Виттфогеля «Восточный деспотизм», являвшей собой яркий пример «ориентализации» России. По мнению автора, из полицентричного общества западного типа Россия под влиянием монголов (но не Византии) превратилась в восточное моноцентричное общество, с его гипертрофированным бюрократическим государством, централизованной армией, отсутствием права частной собственности и других прав и свобод<sup>29</sup>.

Наряду с Виттфогелем в дискуссии приняли участие Н. Рязановский, только что выпустивший свою «Историю России», и востоковед Бертольд Шпулер, автор фундаментальной монографии по истории Золотой Орды. Спор Виттфогеля и Рязановского, полностью отрицавшего применение концепции «восточного деспотизма» к истории России, принял ожесточенный характер. Окончательный вердикт Рязановского был бесповоротен: не Россия не «подходит» под определение восточного деспотизма, а сама концепция восточного деспотизма неприменима к России<sup>30</sup>.

Соотношение сил в этой дискуссии достаточно показательно: только историк русского происхождения Рязановский, ученик Карповича, считает Россию европейской страной. Двое других, не являясь специалистами в области русской истории, склонны «ориентализовать» Россию, усматривая «восточные» корни пресловутого деспотизма в византийском либо в монгольском наследстве.

Симптоматично, что в следующем номере журнала "Slavic review" была опубликована дискуссия «Россия и Запад», которая обнаружила скорее солидарность ее участников, чем серьезные противоречия между ними. В ней приняли участие профессор Колумбийского университета Генри Робертс (специалист по истории Восточной и Центральной Европы), Марк Раев, ставший к тому времени про-

---

<sup>29</sup> Подробнее см.: *Большакова О.В.* Власть и политика... С. 40–43. Как писал в своей рецензии на книгу "Society and history: Essays in honor of Karl August Wittfogel" Р. Хелли, труды Виттфогеля были сразу признаны не имеющими научной ценности, им предсказали скорое забвение. Под их обаяние подпали лишь советские эмигранты (Slavic review. 1980. Vol. 39, N 3. P. 486–487).

<sup>30</sup> *Riasanovsky N.* "Oriental despotism" and Russia. 1963. Vol. 22, N 4. P. 644–649.

фессором русской истории в том же университете, и Марк Шефтель, профессор истории в университете штата Вашингтон на Западном побережье США.

Проблема взаимоотношений России с Западом, который выступал как обобщенное понятие, олицетворяющее западную цивилизацию, рассматривалась с разных сторон, однако все авторы отстаивали необходимость исторического, а не политического подхода к ее исследованию. Все они отдавали себе отчет в том, что текущий момент оказывает особое воздействие на остроту дискуссий, и обращали внимание читателя на такие, например, факты, что под именем «Запада» ранее выступала Западная Европа, а после 1945 г. в первую очередь подразумевается США. Причем, по словам Шефтеля, «на языке политинформации Вашингтона» этот термин включает в себя крайне разнообразную в географическом отношении группу стран, в том числе и азиатские<sup>31</sup>.

Все участники дискуссии выступают за то, чтобы оставаться в рамках исторической науки с присущими ей подходами, включая метод беспристрастного анализа источников. Марк Раев указывает на тот факт, что проблемы принадлежности России к западной цивилизации не существовало в эпоху Ивана Грозного, и даже в эпоху наполеоновских войн. Эти дебаты — продукт довольно новый, и к ним следует подходить соответственно. Марк Шефтель, в свою очередь, настаивает на том, что следует заниматься исключительно дореволюционной историей, поскольку «драма 1917 г. еще не закончена», и никто не может сказать, сколько еще актов осталось и каким будет финал. Сегодняшний день следует оставить на откуп политологам и социологам, которые, однако же, не в состоянии сохранить объективность<sup>32</sup>.

Подчеркивая, что размышления о принадлежности своей страны к западной цивилизации и о том, что такое «Запад» и «Европа», на протяжении XVIII–XIX вв. неизменно присутствовали в общественной мысли США и Канады, Великобритании, Италии, и особенно Германии, пытавшихся определить свое место в изменяющемся мире, Г. Робертс указывает на особую «страстность» и «предубежденность» сравнений России с Западом как внутри самой страны, так и вне ее. В конечном счете, пишет он, вопрос стоит так: принадлежит ли Россия к «Западу», под которым подразумевается обычно Западная Европа, или же нет, т.е. речь идет о возможности ее участия в жизни «европейской семьи наций». Отсюда и проистекает страстность спо-

---

<sup>31</sup> *Szeftel M.* The historical limits of the question of Russia and the West // *Slavic review.* 1964. Vol. 23, N 1. P. 20–21.

<sup>32</sup> *Ibid.* P. 21.

ров вокруг России, подогретых после смерти Сталина дискуссиями о возможной конвергенции СССР и Запада. Центральной проблемой для Робертса является возможность согласования или даже примирения двух конфликтующих интерпретаций, которые сложились в историографии России<sup>33</sup>.

В статье Робертса рассматриваются три подхода к сравнениям России и Запада, которые могли бы дать что-то полезное для понимания русской истории. Во-первых, это концепция, в которой обобщенный «Запад» разложен на составные части и предстает в виде «спектра» разных культур и народов, населяющих Европу. Такой гибкий подход, принимающий во внимание богатство и разнообразие Европы, во-первых, снижает болезненность вопроса о том, «кому будет позволено проскользнуть» в семью европейских наций; во-вторых, позволяет включить туда императорскую Россию, хотя и поместив ее на дальнем (красном) конце спектра. Однако при помощи этого подхода невозможно окончательное разрешение проблемы контраста, очевидного для всякого, пересекающего границу при поездке в Восточную Европу<sup>34</sup>.

Второй подход, очень удобный, как пишет Робертс, для тех, кто склонен отыскивать сходства России с Западом, ставит во главу угла «запаздывание во времени». Он приводит примеры модных в то время аналогий между современным советским образом жизни, с его ценностями среднего класса, и викторианской эпохой. Убежденность в том, что Россия идет тем же путем, что и Западная Европа, но лишь немного «запаздывает», была свойственна русским историкам-эмигрантам, об этом писал и Троцкий в своей «Истории русской революции». В 1950–1960-е гг. это представление получило концептуальное оформление в теории модернизации и, в частности, в популярной работе У. Ростоу о стадиях экономического роста<sup>35</sup>.

Третий подход к сравнительному изучению России и Запада фокусируется на внешних влияниях и возникающем в результате заимствований так называемом симбиозе культур. Робертс считает его самым продуктивным, приводя в качестве примера книгу Н. Рязановского о славянофилах<sup>36</sup>. Концептуальный аппарат славянофилов, как показал Рязановский, был заимствован у немецкого идеализма и романтизма, и при помощи этого западного, в сущности, аппарата

---

<sup>33</sup> *Roberts H.L.* Russia and the West: A comparison and contrast // *Slavic review*. 1964. Vol. 23, N 1. P. 1–3.

<sup>34</sup> *Ibidem.*

<sup>35</sup> *Rostow W.W.* The stages of economic growth, a non-Communist manifesto. London, New York, 1960.

<sup>36</sup> *Riazanovskii N.V.* Russia and the West in the teaching of the Slavophiles. Cambridge (Mass.), 1952.

они дали развернутую картину антитезы «Россия–Запад». Привлекательность такого подхода Робертс видит в том, что он является конкретно-историческим и давно знаком историкам; во-вторых, его главной целью является более глубокое понимание России, а не сравнение ее с Западом.

В любом случае, напоминает Робертс, при проведении сравнений не следует забывать слова Канта из «Критики чистого разума» о том, что различия и подобия представляют собой продукты человеческого мышления и вовсе не отражают реальность. Если же их объективизировать, эти категории могут не только стать причиной споров, но и надолго отсрочат постижение истины. Что касается критериев сравнения, Робертс крайне скептически относится к возможности построения какой-либо классификации, свободной от произвольных допущений, в рамках которой можно было бы сравнивать такие сложные феномены, как государства. В частности, классификация по религиозному признаку, выделяющая две ветви христианства, восточную и западную, не может полностью охватить реалии XX в., если посмотреть, к примеру, на Грецию, Россию и Румынию. По мнению Робертса, только история может обеспечить объективное понимание реального состояния вещей, хотя отрешиться от сегодняшних задач невозможно и историку. Ведь именно реалии дня сегодняшнего формируют те вопросы, которые он ставит и пытается решить при помощи своего исследования<sup>37</sup>.

Исключительно точно Робертс расставляет дисциплинарные приоритеты. Он пишет, что сравнения России и Запада не представляют интереса для антрополога, занимающегося всей совокупностью социальных организаций человечества в его прошлом и настоящем, — они кажутся ему слишком узкими. Это скорее епархия политолога, который обязательно обнаружит резкий контраст между самодержавием и демократией и расположит их на разных концах политического спектра. И, к сожалению, сравнения России и Запада будут выступать либо в качестве поддержки той нормативной позиции, на которой выстраиваются политические отношения между СССР и западными державами, либо как основа для политических прогнозов<sup>38</sup>.

Другой участник дискуссии, Марк Шефтель, указывает на хронологические проблемы, возникающие при сравнении России и Западной Европы. В истории России существовали периоды, когда ее политическое, социально-экономическое и культурное развитие шло в полном соответствии с европейскими принципами. В XVIII в.

---

<sup>37</sup> Roberts H.L. Op. cit. С. 9, 11.

<sup>38</sup> Ibidem.

меркантилизм и крепостное право, а также абсолютная монархия являлись вполне европейскими чертами, лишь после 1848 г. Россия оставалась единственной страной, где сохранялось крепостничество и абсолютизм, но в 1861 г. крестьянство было освобождено, а судебная реформа 1864 г. ограничила абсолютизм. И конечно, после 1905 г. Россия во всех отношениях стала представлять собой часть Европы. Далеко не во всем отличалась от Европы и Московия XVI–XVII вв. Иными словами, если посмотреть с точки зрения исторической, соотношение изменялось от эпохи к эпохе<sup>39</sup>. Робертс, в свою очередь, напоминает, что в истории России был момент, когда споры о ее принадлежности к западной цивилизации утратили свое значение. Это было в начале XX в., когда культурные достижения серебряного века свели на нет пресловутое «запаздывание». А затем Первая мировая война и революция прервали развитие, хотя в русле теории модернизации Октябрь 1917 г. и трактуется многими как одна из «модернизирующих» революций, прокатившихся по миру в последние три столетия<sup>40</sup>. В любом случае — рассматривать ли русскую революцию как разрыв, нарушивший сближение России с Западом, либо считать ее неизбежным следствием процесса модернизации, — после того, как она произошла, старый спор возродился с новой силой и принял форму антитезы «коммунизм против империализма».

Марк Раев перевел проблему сравнений России и Запада в сферу субъективности, подчеркнув, что в результате петровских реформ произошел «раскол» общества, и в среде образованной элиты постепенно возникает «двойное отчуждение»: от своей страны и от Западной Европы. По его мнению, это и сделало дебаты по проблеме «Россия и Запад» столь болезненными и легко подверженными политизации. Именно благодаря сильному желанию идентифицировать себя с Западом и пониманию, что российские реалии с этим несовместимы, в русской истории возникли такие фигуры, как Чаадаев и Печерин. А несоответствие европейских реалий идеальным представлениям о них вызвали к жизни резкое их отторжение, и не только у Герцена и Бакунина<sup>41</sup>. Фактически здесь представлена концепция Раева, более подробно разработанная в его вскоре вышедшей монографии о происхождении русской интеллигенции<sup>42</sup>. Взяв в качестве отправной точки хорошо знакомую по русской классической литературе фигуру «лишнего человека», он двинулся назад, в XVIII в.,

<sup>39</sup> *Szeftel M.* Op. cit. P. 25–26.

<sup>40</sup> *Roberts H.L.* Op. cit. P. 5, 12.

<sup>41</sup> *Raef M.* Russia's perception of her relationship with the West // *Slavic review*. Vol. 23. 1964. N 1. P. 14–15.

<sup>42</sup> *Raef M.* *Origins of the Russian intelligentsia; the eighteenth-century nobility.* New York, 1966.

и обнаружил корни этого явления в петровских и затем екатерининских реформах.

Раев не дает в своей статье прямого ответа на вопрос, принадлежит ли Россия к западной цивилизации. У Раева она, с одной стороны — участница общеевропейской истории, с другой — обладает рядом особенностей, отличающих ее от Европы. Поскольку в центре его внимания находится субъективное восприятие (Раев настаивает, что восприятие современников является основным конституирующим элементом картины, причем изменяющимся во времени), ответ на этот вопрос и не предполагается. Главный тезис Раева заключается в том, что всегда следует учитывать, для кого и с чьей точки зрения Россия является (или не является) частью Запада. Напоминает он и о том, что проблема принадлежности России к западной цивилизации во весь рост встала лишь в 1830–1840-е гг., причем одновременно и в России, и в Европе. Однако Раев не связывает этот факт ни с рождением национализма, ни с развитием таких интеллектуальных течений, как романтизм. Для него это «эпоха либерализации», и на ее фоне российская тирания и крепостничество выглядели особенно мрачно для таких критиков, как маркиз де Кюстин.

В позиции и Шефтеля, и Раева просматривается европоцентризм особого рода, характерный для историков российского происхождения. Он заключается в признании абсолютной ценности «Европы» как эквивалента «цивилизованности». Той же позиции придерживались и Карпович, и Берлин, доказывавший, что идеи русских западников (славянофилов он предпочитал не замечать, во всяком случае, не придавал им большого значения)<sup>43</sup> являются неотъемлемой частью европейской мысли. Вестернизация для них обладала безусловной ценностью, и по-настоящему образованный русский человек должен был быть «европейски образованным». В каком-то отношении эти ученые также вносили свой вклад в противостояние времен холодной войны. Во всяком случае, их позиция подразумевала противопоставление либерального Запада, который они защищали, «тоталитарному» СССР. Лишь американец Робертс вполне осознанно пытается дистанцироваться от европоцентризма. Не отрицая необходимости защищать свою позицию в современных условиях идеологических, дипломатических и моральных противоречий с Советским Союзом, он призывает отстаивать свои ценности и принципы на том основании, что «мы верим в них, а не потому, что они являются “западными”»<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> См. об этом: *Mason A. Isaiah Berlin's "Russian Thinkers" and the argument for inclusion // Kritika. 2012. Vol. 13, N 1. P. 195.*

<sup>44</sup> *Roberts H.L. Op. cit. P. 11.*

Материал журнальной дискуссии фиксирует состояние исторического знания о России на Западе в начале 1960-х гг. Одновременно в нем просматриваются линии будущих исследований. В частности, наиболее развернуто предложенные Робертсом в дискуссии 1964 г. подходы были использованы Мартином Малиа в концепции «культурного градиента». Технический термин «градиент» (вектор движения, направленного вниз по склону; постепенный спуск) в применении к культурной и интеллектуальной истории означает продвижение во времени и пространстве с запада на восток европейского континента, и в этом континууме Россия являлась крайней восточной точкой, «арьергардом Европы», который находится в самом низу «склона». Представление об однонаправленном движении через европейский континент лежало в основе таких известных концепций, как германский *Sonderweg* (особый путь), польский мессианизм и теории российской «отсталости». Как показал в 1960-е гг. Александр Гершенкрон, европейские аграрные общества чем восточнее, тем были более отсталыми, государства — все более деспотичными, в то время как идеи начинали играть все более важную роль. Эти представления и были осмыслены и сведены воедино М. Малиа<sup>45</sup>.

Концепция «культурного градиента» М. Малиа, создававшаяся в контексте холодной войны, отражала определенную идеологическую позицию и была «мягче» в том отношении, что подключала к анализу всю глубину исторического знания. Она предлагала считать Россию европейской страной и рассматривать Европу как конгломерат отдельных культур и множество «особых путей» развития. И соответственно, изучать взаимодействие и взаимопроникновение идей и политических практик в этих культурах, будь то Англия и Франция, или же Германия, Россия и Польша.

Изучение России в ее взаимодействии с Западом, проводившееся в рамках интеллектуальной истории такими представителями старшего поколения, как М. Раев, Н. Рязановский, М. Малиа, во многом основывалось на идеях их учителей — Карповича, Берлина, Гершенкрона. Подготовленные ими ученики развивали эту более «мягкую» линию, что впоследствии позволило пересмотреть подход к интерпретации проблемы «Россия и Запад»<sup>46</sup>.

С точки зрения методологического наблюдения Г. Робертса, высказанные в рассмотренной дискуссии, оказались исключительно

---

<sup>45</sup> *Malia M. Russia under Western eyes. Cambridge (Mass.), 1999.* Большая часть книги была написана в 1960-е гг., но автор долго откладывал написание последней части, посвященной советскому периоду.

<sup>46</sup> См., в частности, сборник, подготовленный учениками М. Малиа: *The cultural gradient: The transmission of ideas in Europe, 1789–1991 / Ed. by C. Evtuhov, S. Kotkin. Lanham, 2003.*

верны: по мере того как политическая история в Russian studies отступала перед натиском социального подхода, сравнения России и Запада утрачивали свою остроту, хотя и оставались основополагающими. Они перестанут быть значимыми гораздо позднее, с возвышением в 1990–2000-е гг. культурной истории (где роль антропологии особенно сильна). Но это было уже совсем иное время. После распада СССР зарубежная русистика претерпела кардинальные изменения, не менее серьезные изменения произошли и в мировой исторической науке. Либерально-универсалистское понимание истории с лежащей в ее основе идеей прогресса отошло в область прошлого, что автоматически снизило остроту противопоставления «Запада» и «Востока». 1990-е годы проходили под знаком борьбы с европоцентризмом и нормативным подходом к истории, и зарубежная русистика также подключилась к этому движению. В результате историки перестали трактовать Россию как особый случай, даже антитезу Западу, подмечая и выявляя те черты, которые не соответствовали «нормальному» ходу вещей. В каких-то случаях это были уничижительные сравнения, в каких-то — холодная констатация препятствий, блокировавших успешное продвижение страны по пути модернизации. С уходом в прошлое этой теории с ее понятиями «отсталости» и «развития» в зарубежной историографии сформировался куда более позитивный образ дореволюционной России, не имеющий ничего общего с прежними картинами неуклонного «упадка империи».

Тем не менее, за пределами русистики, дисциплины все же узко специальной, благополучно продолжает свое бытование консервативный образ «извечной Руси», где рабство и деспотизм были всегда. Сохраняется в публичном дискурсе и такое «оружие холодной войны», как концепция восточного деспотизма, причем в применении как к России, так и к государствам Евразии. Эти политические клише продолжают оказывать давление на профессиональный дискурс, и потому зарубежные историки-русисты считают борьбу с ними по-прежнему актуальной, подчеркивая их «полную несостоятельность»<sup>47</sup>.

## References

*AHR Reflections: 1968* // The American Historical Review. 2018. Vol. 123. N 3. P. 706–778.

Bolshakova O.V. *Kontsept "Zapad" i istoriograficheskiye obrazy Rossii* [A Concept of the "West" and the Historiographical Images of Russia] // *Trudy*

---

<sup>47</sup> См.: *Stanziani A.* After Oriental despotism. Warfare, labour and growth, sixteenth–twentieth centuries. London, 2014; *Kollmann N. Sh.* The Russian empire, 1450–1801. New York, 2017.

- po rossiyevedeniyu [Proceedings of Russian Studies]. Issue 6. Moscow: INION RAN, 2016. P. 353–385.
- Bolshakova O.V. *Vlast' i politika v Rossii XIX — nachala XX veka: Amerikanskaya istoriografiya* [Power and Politics in Russia in the 19th — Early 20th Centuries: American Historiography]. Moscow: Nauka, 2008. 263 p.
- Chamberlin W.H. *Foreword* // *The Russian Review*. 1941. Vol. 1. N 1. P. 1–5.
- Crankshaw E. *Russia and the Russians*. New York: The Viking Press, 1948. V, 223 p.
- Crankshaw E. *The Shadow of the Winter Palace: The Drift to Revolution, 1825–1917*. 2nd ed. London: Macmillan, 1976. 429 p.
- The Cultural Gradient: The Transmission of Ideas in Europe, 1789–1991* / Ed. by C. Evtuhov, S. Kotkin. Lanham: Rowman and Littlefield, 2003. VI, 324 p.
- David-Fox M. *Vvedeniye: Ottsy, deti i vnuki v amerikanskoy istoriografii tsarskoy Rossii* [Introduction: Fathers, Children and Grandchildren in American Historiography of Tsarist Russia] // *Amerikanskaya rusistika* [American Russian Studies]. Samara: Samarskiy universitet, 2000. P. 5–47.
- Dow R. *Prostor: A Geopolitical Study of Russia and the United States* // *The Russian Review*. 1941. Vol. 1. N 1. P. 6–19.
- Engerman D. *Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet Experts*. Oxford: Oxford University Press, 2009. X, 459 p.
- Gorer G., Rickman J. *The People of Great Russia. A Psychological Study*. London: Gresset, 1949. 235 p.
- Hagen M., von. *Empires, Borderlands and Diasporas. Eurasia as Anti-paradigm for the Post-Soviet Era* // *American Historical Review*. 2004. Vol. 109. N 2. P. 445–468.
- Halecki O. *Borderlands of Western Civilization: A History of East-Central Europe*. New York: The Ronald Press Company, 1952. XVI, 503 p.
- Karamzin N.M. *Memoir on Ancient and Modern Russia* / Transl., ed. by R. Pipes. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1959. XIV, 266 p.
- Karpovich M. *O russkom messianstve* [On Russian Messianism] // *Novyy zhurnal* (New York). 1956. Vol. XLV. Book 45. P. 274–283.
- Keller W. *East Minus West = Zero: Russia's Debt to the Western World, 862–1962* / Transl. from German. New York: Putnam, 1962. 384 p.
- Kollmann N.Sh. *The Russian Empire, 1450–1801*. New York: Oxford University Press, 2017. XIV, 497 p.
- Korenevskiy A.V. *Vizantiyskoye naslediyе Rossii: anatomiya mifa* [The Byzantine Heritage of Russia: The Anatomy of a Myth] // *Novoye proshloye*. 2016. N 1. P. 62–79.
- Likhachev D.S. *Natsional'noye samosoznaniye Drevney Rusi* [National Identity of Old Russia]. Moscow; Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR, 1945. 118 p.
- Malia M. *Russia under the Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1999. XII, 514 p.
- Mason A. *Isaiah Berlin's "Russian Thinkers" and the Argument for Inclusion* // *Kritika*. 2012. Vol. 13. N 1. P. 185–200.
- Novick P. *That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. XII, 648 p.

- Pipes R. *Vixi: Memoirs of a Non-Belonger*. New Haven: Yale University Press, 2003. XIII, 264 p.
- Poe M.T. *Moscow, the Third Rome: The Origins and Transformations of a "Pivotal Moment"* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2001. H. 49. Bd. 3. S. 412–429.
- Raëff M. *Origins of the Russian Intelligentsia. The 18th-century Nobility*. New York: Harcourt, Brace & World, 1966. 248 p.
- Raëff M. *Russia's Perception of Her Relationship with the West* // *Slavic Review*. Vol. 23. 1964. N 1. P. 13–19.
- Raëff M. *Siberia and the Reforms of 1822*. Seattle: University of Washington Press, 1956. XVII, 210 p.
- Riasanovsky N.V. *Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855*. Berkeley: University of California Press, 1959. VIII, 296 p.
- Riasanovsky N. "Oriental Despotism" and Russia // *Slavic Review*. 1963. Vol. 22. N 4. P. 644–649.
- Riazanovskii N.V. *Russia and the West in the Teaching of the Slavophiles*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1952. 244 p.
- Roberts H.L. *Russia and the West: A Comparison and Contrast* // *Slavic Review*. 1964. Vol. 23. N 1. P. 1–12.
- Rostow W.W. *The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto*. London; New York: Cambridge University Press, 1960. 178 p.
- Stanziani A. *After Oriental Despotism. Warfare, Labour and Growth, 17th–20th Centuries*. London: Bloomsbury, 2014. 184 p.
- Szefel M. *The Historical Limits of the Question of Russia and the West* // *Slavic Review*. 1964. Vol. 23. N 1. P. 20–27.
- Toynbee A.J. *Civilization on Trial*. New York: Oxford University Press, 1948. VII, 263 p.
- Toynbee A.J. *Russia's Byzantine Heritage* // *Horizon*. 1947. Vol. XVI. N 91. August. P. 82–95.
- Treadgold D. *The Great Siberian Migration: Government and Peasant in Resettlement from Emancipation to the First World War*. Princeton: Princeton University Press, 1957. XIII, 278 p.
- Ul'yanov N.I. *Kompleks Filofeya* [Philotheus's Complex] // *Novyy zhurnal* (New York). 1956. Vol. XLV. Book 45. P. 249–273.
- Wittfogel K. *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*. New Haven: Yale University Press, 1957. IV, 556 p.
- Zhuravleva V.I. *Ponimaniye Rossii v SShA: Obrazy i mify. 1881–1914* [Understanding Russia in the United States: Images and Myths. 1881–1914]. Moscow: RGGU, 2012. 1140 p.

Поступила в редакцию  
23 августа 2020 г.